



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ

*К 25-летию научной
и педагогической деятельности в СПбГУП*

А. С. ЗАПЕСОЦКИЙ

ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ



**Санкт-Петербург
«НАУКА»
2011**

2.2. ЯЗЫК, ЛИТЕРАТУРА, КУЛЬТУРА

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ*

Празднуя 100-летний юбилей академика Д. Лихачева, отечественная интеллектуальная элита — научная и творческая, — на мой взгляд, до сих пор недостаточно ясно сформулировала для себя смысл происходящего. По крайней мере в «дежурных» юбилейных мероприятиях — статьях, публикациях, теле- и радиопередачах — уникальность события не обозначается никак. А между тем даже для «ленивой и нелюбопытной», по словам Пушкина, российской общественной мысли должно быть заметно, что произошло нечто небывалое.

Заметим, что до сих пор не только в массовом сознании, но и в восприятии научных кругов академик Лихачев фигурирует исключительно как филолог-литературовед, исследователь древнерусской словесности, главный сотрудник Института русской литературы РАН (Пушкинского Дома). Разумеется, Д. Лихачев — блистательный филолог-«древник», его заслуги в деле изучения и популяризации этой области нашей словесности велики. Но, будучи звездой первой величины в плеяде ученых, посвятивших себя изучению наследия Древней Руси, он отнюдь не затмевает собой другие светила.

Для того чтобы это понять, достаточно совершить даже самый беглый экскурс в историю данной области науки, зафиксированную в знаменитой серии «Трудов отдела древнерусской литературы». Отдел древнерусской литературы в Пушкинском Доме был создан в 1933 году (тогда, впрочем, он был сектором) стараниями академика А. Орлова. В 1947 году его возглавила член-корреспондент АН СССР В. Адрианова-Перетц, которая и пригласила Лихачева в Институт русской литературы, а потом передала ему руководство сектором. То есть, когда Лихачев возглавил это подразделение Пушкинского Дома, там уже были свои традиции. Огромная и бесценная для науки работа по собиранию и систематизации древнерусских источников была проведена В. Малышевым,

* Печатается по тексту статьи в журнале «Вопросы литературы» (2006): см. № 50 Библиографического указателя.

который ездил в экспедиции по Русскому Северу и собрал множество древнерусских памятников для хранилища Пушкинского Дома.

А если заглянуть в прошлое дальше — то мы увидим несколько замечательных поколений выдающихся собирателей, подобных тому же А. Мусину-Пушкину (о котором благодаря открытию «Слова о полку Игореве» знает каждый школьник) и его сподвижникам, тонким знатокам древнерусских рукописей А. Малиновскому и Н. Бантыш-Каменскому. В XIX веке изучение наследия Древней Руси связано с целым рядом деятелей науки и культуры, среди которых — безусловные национальные лидеры, властители дум своей поры — от В. Жуковского и Н. Карамзина до А. Потебни и Ф. Буслаева.

Великая заслуга Дмитрия Лихачева в том, что он сумел систематизировать весь ранее накопленный материал и поднять изучение древнерусской литературы на совершенно новый — современный — научный уровень. Но говорить о некоей исключительной его роли в данном направлении развития отечественной научной мысли нельзя. *Людам, лично знавшим Дмитрия Сергеевича, понятно, что сам Лихачев был бы, мягко говоря, огорчен предположением, что благодарные потомки — пусть даже из самых лучших побуждений — станут вдруг осуществлять некие действия, в результате которых его имя сможет оказаться противопоставленным именам В. Жуковского и А. Потебни.* Между тем нынешняя исключительная общественная востребованность Лихачева создает у части филологов иллюзию именно такого противопоставления. Не случайно в прессе уже появляются ерничания, что, мол, Лихачев — средний ученый. В психологическом плане такие выпады показательны. Это своеобразная реакция на недопонятое внимание к личности академика.

Страна отмечает выдающийся вклад Дмитрия Сергеевича в развитие «гуманитарных наук, культуры и образования», а не «вклад в развитие литературоведения», или, тем более, «вклад в изучение древнерусской литературы». Эта сторона его деятельности, разумеется, подразумевается под «гуманитарными науками» в числе других, но и только. Показательно, к примеру, что академик А. Гусейнов недавно обратил внимание на философскую составляющую работ Дмитрия Лихачева, писатель Д. Гранин — на заслуги Лихачева-историка. Мне же представляется особенно важным все сделанное Дмитрием Сергеевичем для изучения культуры...

Анализ трудов академика Лихачева в широком контексте гуманитарных наук позволяет констатировать следующую логику происходящего. После краха Советского Союза, времен смуты и тяжелейшего периода деградации государства и общества наступило время собирать, сплачивать нацию, поднимать ее с колен. В таком деле без точно выбранных точек опоры не обойтись. Оказывается, что обращение к трудам Д. Ли-

хачева дает одну из таких точек. В этой связи актуализируется в первую очередь та часть лихачевского наследия, которая предопределила его активную общественную позицию, его неповторимый общественно-политический облик духовного лидера русской интеллигенции в трагически-яркий, переломный момент истории нашего Отечества.

А это преимущественно его работы о культуре. С позиций современного знания можно сказать, что рядом с Лихачевым-филологом в конце минувшего столетия встала фигура Лихачева-культуролога, не менее значительная и не менее масштабная. Академик Лихачев — выдающийся, великий культуролог XX века. Анализ его работ позволяет сделать вывод, что активная гражданская позиция Лихачева была практическим выражением его культурологической концепции, — и в этом радикальное отличие академика от большинства его союзников по демократическому движению конца 80-х — начала 90-х годов. Те, большей частью, лишь озвучивали чужие тезисы и лозунги. На весах истории их риторика и они сами оказались «легкими весьма», и нынешний молодой россиянин, видя их имена в документах того (не столь, кстати, далекого) времени, может только повторить вслед за Пушкиным:

Сколько их! куда их гонят?
Что так жалобно поют?

И тот же молодой россиянин благоговейно открывает сейчас очередные издания лихачевских трудов.

Интересно, что даже и сейчас некоторые коллеги Лихачева по филологическому цеху настаивают, что профессией академика было исключительно литературоведение, а его работы о культуре — некое «хобби», которое не следует особенно принимать всерьез. Можно, конечно, вспомнить знаменитое изречение Козьмы Пруткина: «Специалист подобен флюсу», — профессиональная цеховая ограниченность нередко идет в науке рука об руку с неплохими исследованиями частных, локальных явлений. Но дело не только в этом. *Попытки дезавуировать Лихачева-культуролога есть попытки опровергнуть очевидное. Тем более они заслуживают осмысления.*

В «Заметках к интеллектуальной топографии Петербурга первой четверти двадцатого века» Лихачев пишет, что в «городах существуют районы наибольшей творческой активности», «места деятельности, куда тянет собираться, обсуждать работы, беседовать, где обстановка располагает к творческой откровенности, где можно быть в своей среде» [1]. Судьба распорядилась так, что в последнее десятилетие жизни таким местом для Лихачева становится Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов. Именно эти годы прошли для Лихачева «под знаком культурологии», и в Университете он нашел единомышленников,

нашел «свою среду». В 1993 году Лихачев стал первым доктором *honoris causa* СПбГУП (кстати, это была его первая и единственная «русская мантия»), и с этого момента Университет для него — второе родное место после Пушкинского Дома (ИРЛИ).

Летом 1995 года Дмитрий Сергеевич познакомил меня и моих коллег со своей идеей разработки проекта Декларации прав культуры. По мысли Лихачева, современный этап развития цивилизации породил необходимость официального принятия международным сообществом, правительствами государств ряда принципов и положений, обеспечивающих дальнейшее сохранение и развитие культуры как общего достояния всего человечества. Текст этой Декларации, которую я считаю важнейшим научным и нравственным завещанием академика Лихачева, был создан им в сотрудничестве с нами. Каждый раз Дмитрий Сергеевич приезжал на наши встречи заранее и терпеливо, безмолвно сидел, ждал начала, опираясь на трость. Научная дискуссия могла длиться два-три часа, и он нередко сидел все это время молча, слушал. Затем брал слово и тихо говорил две-три минуты. Но сказанное им потрясало.

Не забуду, как однажды он заявил, что сознание определяет бытие. До этого десятки лет марксисты твердили обратное: что бытие определяет сознание. А Лихачев вдруг сообщил нам, что, по его мнению, будущее не определено никакими объективными законами общественного развития, что оно будет таким, каким мы его сделаем сами. Зал, где все это происходило, был битком набит, и все слушали его, затаив дыхание. До сих пор помню, как у меня от его слов вдруг мороз прошел по коже. Они были абсолютно созвучны моей внутренней позиции человека, в 37 лет взявшегося реформировать вуз, причем в совершенно отчаянных условиях. Но Лихачев так четко, просто и ясно выразил мою философию...

С легкой руки Лихачева в Университете стали проводиться ежегодные Международные научные чтения по гуманитарным проблемам, приуроченные к Дням славянской письменности и культуры (теперь — Лихачевские чтения). В 1995 году, прямо на университетской площади, в День знаний 1 сентября Лихачев, стоя перед людским морем в своей черной университетской академической мантии, зачитывал проект преамбулы Декларации: «Культура представляет главный смысл и главную ценность существования как отдельных народов и малых этносов, так и государств. Вне культуры самостоятельное существование их лишается смысла...»

Для меня, как для непосредственного участника всех лихачевских начинаний в СПбГУП, несомненно, что в конце XX века и в жизни, и в творчестве Дмитрия Сергеевича наш Университет сыграл особую роль. *В Пушкинском Доме он работал как филолог, а у нас проявился как выдающийся культуролог.* Готовясь к 100-летию своего первого почетно-

го доктора, Университет выпустил две книги. В одну из них мы собрали университетские работы и выступления Д. Лихачева, в другую — наиболее значительные публикации академика о культуре в предыдущий, доуниверситетский период. Нужно сказать, что в отличие от филологических работ Лихачева его культурологические труды под одной обложкой до этого не публиковались. Между тем в культурологических сборниках Лихачев предстает как один из крупнейших мыслителей XX века.

Приведу только один пример, поразивший меня уже как читателя «образца 2006 года». С середины 90-х годов Лихачев дает *свое видение* глобализации как современного процесса взаимодействия культур в мировом масштабе, *движимого в первую очередь не экономическими, а именно культурными интересами человечества*. В Декларации эта концепция сформулирована им достаточно ясно. По Лихачеву, глобализацию надо не «принимать» или «не принимать», *ею можно и нужно управлять*, добиваясь положительных результатов для всех, *ее надо осуществлять* не для «золотого миллиарда» жителей отдельных стран, а для всего человечества. Человечеством должна быть выстроена концепция *глобализации как гармоничного процесса мирового культурного развития*. Понимание же глобализации только как экспансии мировых корпораций, перетока кадров и сырьевых ресурсов и так далее не просто неверно, но и вредно, поскольку практически такое понимание парализует творческую волю человечества перед «стихией» истории. Собственно, лихачевская Декларация и была попыткой (в 1995 году!) сформировать активное отношение к глобализации, создать механизм управления ею на уровне интернационального законодательства, на уровне ООН.

О силе предвидения Лихачева-культуролога я подумал впервые в 2004 году, когда увидел на телеэкране растерянное лицо М. Пиотровского, который умолял, заклинал (кого? на каком основании?!) не бомбить музей в Вавилоне, пощадить эту бесценную сокровищницу. Слова его бессильно «летели в пустоту» (музей был, как известно, не только разгромлен, но и разграблен). Ставя в Декларации вопрос о международных гарантиях сохранности культурных ценностей, Дмитрий Сергеевич как будто предвидел варварские бомбардировки Соединенными Штатами Ирака, уничтожившие величайшие памятники древней культуры. Тогда, в относительно благополучном мировом сообществе середины 1990-х годов, подобное никому не представлялось возможным...

Говоря о Лихачеве-культурологе, мне хочется особо подчеркнуть, что *противопоставлять филологические и культурологические исследования Лихачева было бы неправильно. Литературоведческая и культурологическая рефлексии в современном научном мышлении не противостоят друг другу, а являются параллельными, взаимно полезными познавательными процессами*. Вспомним, что одним из «моментов самоопределения» современного литературоведения стала статья

Б. Эйхенбаума 1918 года, которая носила знаменательное название «Как сделана “Шинель”». С этого момента — стараниями знаменитой ленинградской филологической группы ОПОЯЗ, считавшей эйхенбаумовскую статью своим манифестом, — главным и единственным средоточием собственно литературоведческой научной мысли стал текст художественного произведения. Все остальные аспекты литературоведения должны были отныне выявлять свои задачи и методы, сообразуясь с их участием в анализе художественного текста. Так были впервые научно обоснованы границы литературоведения как науки. Но именно когда эти границы были научно обоснованы, вдруг стало ясно, что *многие великие русские литературоведы — прежде всего, Белинский, Чернышевский, Добролюбов, Писарев — в эти границы не укладываются.*

Дело в том, что их интересовало не только — если использовать заглавие-формулу Б. Эйхенбаума — «как сделана “Шинель”», но и «почему “Шинель” сделана именно так?». Попытка ответить на второй вопрос заставляла их сопоставлять ту же «Шинель» с другими явлениями культурной жизни России, видеть в литературном художественном тексте не «самоцель» своих размышлений, а лишь явление культуры в ряду других явлений культуры, далеко не ограниченных сферой литературы вообще. В XIX веке, не зная современной классификации гуманитарных наук, это методологическое противоречие воплотилось в спор сторонников «чистого искусства» и сторонников «искусства для жизни». Все мы имеем представление об этом споре благодаря вошедшему в школьные хрестоматии отрывку из «Железной дороги» Некрасова:

Вы извините мне смех этот дерзкий,
Логика ваша немножко дика.
Или для вас Аполлон Бельведерский
Хуже печного горшка?

Сторонников «искусства для искусства», «чистого искусства» сейчас называют «искусствоведами» и «литературоведами», и для них действительно «Аполлон Бельведерский» является абсолютно самодостаточной величиной и самооценным предметом для размышлений. А сторонников «искусства для жизни» сейчас называют «культурологами», и вот для них-то интерес к «Аполлону Бельведерскому» отнюдь не отменяет интерес к «печному горшку», ибо и то, и другое является разными иерархическими уровнями выражения одной и той же культуры. Более того, культурологи не брезгают «печными горшками», ибо знают, что в некоторые периоды своего развития некоторые этносы делают такие «печные горшки», что стилистика подобного делания (латинское «cultura» — обрабатывание, возделывание) как раз и позволяет в высшем своем развитии создать «Аполлона Бельведерского».

Но один и тот же ученый — в зависимости от своих интересов и задач — *меняет методологии* в разных исследовательских работах. А может и *не менять*. Таким образом, есть ученые-литературоведы и ученые-культурологи, а могут быть — подобно Белинскому, Чернышевскому, Добролюбову и Писареву — *и литературоведы, и культурологи в одном лице*. В этом случае какая-то часть наследия такого ученого, выполненная в одном методологическом ключе, принадлежит литературоведению, а другая часть этого наследия, использующая иную методологию, принадлежит культурологии. И никому сейчас в голову не придет отделять и противопоставлять взгляды, например, Чернышевского-культуролога и Чернышевского-литературоведа. Одно дополняет другое.

Подобное мы можем сказать и о Лихачеве. Из того, что многие его коллеги занимались только литературоведением, вовсе не следует, что сам Лихачев не мог заниматься и литературоведением (в одних своих работах), и культурологией (в других своих работах). Ничего невероятного (и тем более — ничего обидного ни для Лихачева, ни для его коллег — «чистых» литературоведов) в этом нет.

Лихачев в своей литературоведческо-культурологической «двуплостности» был далеко не одинок среди современников. Можно назвать сразу несколько имен первой величины, но я упомяну только Юрия Михайловича Лотмана, сочетавшего в себе литературоведа и культуролога с еще большей, чем Лихачев, диалектической остротой. И действительно, если разработанную Лотманом литературоведческую методику структурализма (гениальную) применить в качестве оценочного критерия к его же «Беседам о русской культуре» (гениальным), то что-то одно в наследии Лотмана-ученого придется «вывести за рамки» в качестве «хобби»... Впрочем, может быть, ничего плохого в этом и нет? Великий дипломат Грибоедов ведь тоже имел «хобби» и прекрасный химик Бородин...

В торжественный год памяти академика Дмитрия Сергеевича Лихачева мы чествуем великого литературоведа и великого культуролога. Мы преклоняемся перед универсальным гением этого человека.

Примечание

1. *Лихачев Д. С.* Избранные труды по русской и мировой культуре. СПб. : СПбГУП, 2006. С. 283–284.

ИЗУЧЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ КАК ЯВЛЕНИЙ КУЛЬТУРЫ*

I

В пору празднования 100-летия академика Д. С. Лихачева в стране состоялся целый ряд соответствующих научных конференций и торжественных заседаний, опубликовано немало юбилейных материалов. И все же *представляется уместным еще раз вернуться к вопросу о его вкладе в литературоведение.*

Дело в том, что яркое и продуктивное использование результатов лихачевских исследований в литературоведении XXI века удивительным образом контрастирует с отсутствием попыток комплексной оценки роли самого ученого в развитии данной отрасли науки с позиций современного знания. Более того, многие «юбилейные» статьи производят порой удручающее впечатление, сводясь к унылому перечислению публикаций и признанных ранее заслуг академика, вклад в науку которого якобы состоит лишь в «хранении культурного наследия». По сути дела, лучшей работой о Лихачеве-литературоведе до сих пор остается статья В. П. Адриановой-Перетц, опубликованная впервые в 1966 году [1], и приходится только надеяться, что данный пробел будет восполнен грядущими филологическими поколениями. Однако пока этого не случилось, представляется уместным высказать несколько соображений на данную тему, носящих, как хочется надеяться, дискуссионный характер.

Фактология жизненного пути Лихачева обстоятельно освещена во многих изданиях [2].

То, что Д. С. Лихачев в 1938 году стал сотрудником Отдела (впоследствии — сектора) древнерусской литературы Института русской литературы Академии наук (Пушкинского Дома), предварительно отсидев около четырех лет в Соловецком концентрационном лагере особого назначения (и написав там несколько блестящих работ, посвященных уголовному фольклору), сейчас широко известно — об этом много говорилось и писалось начиная с «перестроечных» времен. Не является секретом и то, что первой монографией будущего академика была бро-

* Печатается по тексту статьи в журнале «Нева» (2007): см. № 62 Библиографического указателя.

шюра «Оборона древнерусских городов», написанная им в соавторстве с археологом, профессором М. А. Тихановой в блокадном Ленинграде специально для солдат, защищавших ленинградские рубежи (ее раздавали в окопах).

Кандидатская диссертация о новгородских летописных сводах XII века была защищена в 1941 году, докторская — об истории литературных форм летописания XI–XVI веков — в 1947-м. В общем, достаточно знакомым, по крайней мере для гуманитариев, является и послевоенный творческий путь Д. С. Лихачева, схематически изложенный во многих биографических статьях: в 1950 году он публикует двухтомный труд, посвященный классическому памятнику киевского летописания «Повесть временных лет», в 1954 году возглавляет Сектор древнерусской литературы ИРЛИ, в 1958 году издает монографию «Человек в литературе Древней Руси», где впервые была представлена теория смены культурно-исторических стилей в средневековой русской литературе, в 1962 году — «Текстологию» (о ней пойдет речь далее особо), в 1967 году — «Поэтику древнерусской литературы», опровергающую взгляд на «евразийскую» природу русской культуры. Тогда же, в 1960–1970-х годах, Лихачевым написан ряд статей, посвященных крупнейшим фигурам «допетровского» периода отечественной словесности.

Особое внимание Дмитрий Сергеевич уделял «Слову о полку Игореве», противодействуя новому «всплеску» активности авторов, стремившихся поставить под сомнение подлинность этого шедевра русского Средневековья. Д. С. Лихачев сумел ответить им достойно.

В зрелый период жизни Лихачев действует как подлинный паладин, сражающийся за честь «Прекрасной Дамы» — России, ее великой культуры, являющейся частью культуры мировой. Он «без страха и сомнения» выступал против любого противника и, что очень важно в отечественном историческом контексте, умел побеждать даже в неравной битве. «Все мои статьи имеют не “проповедническую” цель, а являются определенными поступками в борьбе за сохранение культуры, не только русской культуры, а культуры в целом, — писал Лихачев за год до ухода из жизни, “на санях сидючи”, оглядывая пройденный путь. — Перечислю бегло объекты моей озабоченности: это Невский проспект в Петербурге; Кремль в Соловках; подмосковные усадьбы (в первую очередь Мураново и Шахматово); фрески Ковалева, Болотова, Нередицы в Новгороде; Воронцовский дворец в Алушке; Лесковицы в Чернигове; парки в Петергофе, Пушкине, Гатчине, Павловске, Выборге; озеро Байкал; направление течения рек в Сибири, Средней Азии и т. д.; это научные библиотеки, рукописные собрания, состояние запасников музеев, средних школ и высших учебных заведений; это публикации в серии “Литературные памятники” воспоминаний “монархиста” А. Бенуа, житий византийских святых, в Гослите — романа Б. Пастернака “Доктор Живаго” и многого

другого, за что мне неоднократно “попадало”. Не могу сказать, что мои усилия не дали результатов. Напротив, большинство моих акций оказались успешными» [3].

II

Однако само по себе перечисление трудов, заслуг и регалий не дает ответа на главный вопрос, до сих пор не разъясненный массовой читательской аудитории: *в чем состоит принципиальное новаторство Д. С. Лихачева в контексте современной ему филологической науки?* То, что академический ученый написал много хороших книг по теме его научной работы, не может быть само по себе основанием для придания ему статуса «знаковой фигуры». И во времена Архимеда, и во времена Ньютона, и во времена Менделеева их коллеги тоже писали много и хорошо, но у Архимеда, в отличие от прочих, была еще и его «ванна», у Ньютона — «яблоко», у Менделеева — «таблица». Гений тем и отличается в научном мире от таланта, что за первым стоит некая кульминация его творческих усилий, локализованная во времени и пространстве в ослепительно яркий миг взлета, прорыва, тогда как для талантов существует лишь много частных, скромных успехов на всем протяжении их жизненного пути. Поэтому-то подавляющее большинство ученых остаются в истории науки длинным «списком научных трудов», и только единицы входят в эту историю с кратким, предельно ясным и понятным даже для непосвященных «девизом»-эмблемой, подобной рыцарскому боевому кличу легендарных героев минувших времен:

«Lumen Coeli, Sancta Rosa!» —
Восклидал в восторге он...

Есть ли подобный девиз у Лихачева-литературоведа? Думается, есть. И этот девиз — «*текстология*».

Как это часто бывает в научной работе, главное открытие Лихачева-литературоведа начиналось с вопросов достаточно частных и как будто далеких от сияющих вершин «высокой науки»: «древникам» лихачевского сектора нужно было окончательно определиться с принципами публикаций русских средневековых памятников. Дело в том, что книги до изобретения Гутенбергом печатного станка, как легко понять, создавались переписчиками, а рукописные копии, в отличие от печатных, имеют индивидуальные ошибки, пропуски, искажения и дополнения. В результате текст одного и того же произведения, содержащийся в разных дошедших до нас рукописных трудах, существовал в нескольких, подчас значительно отличающихся друг от друга текстовых версиях. Естественно, вставал вопрос: какую из этих версий публиковать? Очевидно, что таковой должна была быть авторская версия, но как ее установить?

Проблема эта возникла задолго до Лихачева, и не в литературоведении, а в богословии, поскольку и Священное Писание первоначально существовало в рукописных списках. Первыми текстологами были ученые-«толковники», стремившиеся установить библейский «канонический текст» (о важности этой работы говорит, например, тот факт, что из-за одной-единственной буквы «йота», отличающей греческое слово «единосущный» (ομοουσιος) от слова «подобносущный» (ομοιουσιος), в III веке шла настоящая многолетняя религиозная война).

В Новое время те же проблемы, связанные с изучением рукописных текстов, получили «по наследству» от богословов литературоведы, занимающиеся исследованием светской литературы Средневековья. И столетие за столетием исходный, «канонический» текст определяли путем механического сличения рукописей, составляя так называемые «стеммы» — схематические цепочки вариантов текста, объединенных общими ошибками или общими сходными фрагментами. На основании разных комбинаций ошибок или комбинаций сходных мест в разных версиях текста выстраивалась иерархия, которая в теории должна была выявить «безошибочный» вариант, считавшийся исходным. Разумеется, такая «механика» в методике работы литературоведа-текстолога вела ко всевозможным противоречиям и нестыковкам, которые до Лихачева полагались неизбежным злом. Понимание того, что «арифметика текста должна уступить место исследованию смысла текста» [4], конечно, существовало, но принципы подобного «исследования смысла» оставались непонятными.

Открытие, совершенное Лихачевым, как и любой гениальный прорыв в науке, поражает своей простотой и, главное, нестандартностью в подходе к решению проблемы. Вместо того чтобы бесконечно перетасовывать и комбинировать тексты, выявляя в них все новые особенности, он предложил своим коллегам обратить внимание на то, как и при каких условиях эти особенности могли в текстах появиться. Другими словами, *Лихачев впервые в мировой медиевистике сосредоточил внимание не на книге как таковой, а на человеке, пишущем книгу*. «Нет текста вне его создателей, как и нет литературы вне писателей, — утверждал Д. С. Лихачев. — Чтобы восстановить историю текста того или иного произведения, надо вообразить за ним древнерусского книжника, надо знать, как работал древнерусский книжник, проникнуть в его психологию, знать его цели, идеологические устремления, знать “механизм” ошибок. *Надо вообразить себе за текстом и за его изменениями человека, который этот текст создал, вносил в него вольные или невольные изменения. Текстология имеет дело прежде всего с человеком, стоящим за текстом*» [5].

Именно это — гениально. Все гениальное — просто. Канту было нужно «всего-то» предположить, что пространство и время не существуют

в реальности, а являются категориями человеческого мировосприятия — и произошел переворот в философии. Лобачевскому было нужно всего-то представить, что идеальной евклидовой плоскости, в которой могут быть проложены параллельные линии, в природе нет — и были потрясены все предшествующие представления о геометрии. Лихачеву всего-то и надо было подчеркнуть, что *понять историю создания текста — это и значит понять текст*, — и многие существовавшие до этого момента взгляды на цели и задачи изучения литературы летописного периода стали архаикой.

Действительно, до лихачевской «Текстологии» литературоведы изучали либо текст, либо писателя, так сказать, отдельно друг от друга. В первом случае текст толковался (такой метод называется герменевтическим), то есть литературовед присваивал тексту некоторое значение, основываясь на своем понимании его знаковых особенностей (а большей частью — по произволению своему). Во втором случае (исторический или историко-литературный метод) литературовед изучал биографические документы, позволяющие сформулировать «взгляды писателя», и видел в его произведениях (точнее, в их «идеологически значимых» фрагментах) точно такие же «биографические свидетельства».

И только Лихачев первым попытался связать два этих начала, попытался представить себе, как конкретная личность проявляет себя в процессе создания конкретного текста. Читать без волнения те страницы «Текстологии», где фиксируется этот «момент истины», невозможно. «Заглянем через плечо древнерусского книжника, — предлагает Д. С. Лихачев. — Он сидит на “стульце”, положив рукопись на колени. Рядом с ним на низком небольшом столике письменные принадлежности: чернильница и киноарница, маленький ножик для подчистки неправильно написанных мест и чинки перьев, песочница, чтобы присыпать песком непросохшие чернила. Он пишет не в переплетенной книге, а в отдельных тетрадах, то есть согнутых в два, в четыре раза листах пергамена или бумаги, которые только потом переплетают в книгу...» [6] В психологии это называют эмпатией — умением представить себя на месте другого человека. И даже простая зрительная картинка создания рукописи, как пишет Лихачев, сразу «может сообщить исследователю очень много данных, чтобы судить об оригинале рукописи и о тексте. Целый ряд особенностей текста может вызываться именно таким характером переписки рукописи. Оригинал, с которого книжник переписывает или который он перерабатывает, с которым он сличает свою рукопись, лежит не рядом: на коленях места немного. И от этого могут произойти также типичные изменения текста, ошибки и опущения. Оригинал далеко — его можно плохо прочесть, случится и забыть текст, когда пишешь, а снова заглянув в него — перескочить глазом с одной строки на другую и прочесть не тот текст» [7].

«История текста памятника, — пишет Лихачев, формулируя свое понимание текстологии, — стала рассматриваться в самой тесной связи с мировоззрением, идеологией авторов, составителей тех или иных редакций памятников и их переписчиков. История текста явилась в известной мере историей их создателей...» [8] Поэтому «чтобы восстановить историю текста памятников, текстолог обязан быть и историком, и литературоведом, и языковедом, и историком общественной мысли, а часто и историком искусства. <...> На всем пути истории текста стоят люди с их интересами, воззрениями, представлениями, вкусами, слабыми и сильными сторонами, навыками письма и чтения, особенностями памяти, общего развития, образования. Из этих людей наиболее важен для нас автор, но значение имеют и редактор, и заказчики, и переписчики, и читатели, также оказывающие внимание на судьбу текста, а за этими людьми стоят, в свою очередь, люди и люди: все общество оказывает свое заметное и незаметное влияние на судьбу памятника» [9].

Понимание истории текста как ключа к его содержанию («не в слове — дело, а — почему слово говорится» — от цитирования горьковского Луки здесь удержаться сложно) выводило текстологическую концепцию Лихачева не только за достаточно узкие рамки медиевистики, но и за границы собственно литературоведения. *Отталкиваясь от локальных проблем изучения древнерусских рукописей, Лихачев шел к основам семиотики* — науки о знаковых системах, имеющей в современном научном мире универсальный характер. *Это и стало решающим в его облике литературоведа-новатора.*

Следует заметить, что некоторые конкретные результаты лихачевских исследований в настоящее время либо уточнены, либо опровергнуты современными филологами-«древниками». Ничего удивительного в этом нет — наука не стоит на месте. Даже для непрофессионала очень многое в самой лихачевской «Текстологии» сегодня уже кажется очевидно архаичным (так, например, в эпоху информатики звучат трогательно наставления Лихачева в технических приемах для проведения сравнения текстов: «Лист графится на вертикальные колонки по числу списков. Если списков настолько много, что все они не могут разместиться на листе, то к листу справа по горизонтали могут присоединяться (с помощью подклейки или без подклейки) дополнительные листы с вертикальными колонками. В крайней левой колонке пишется текст основного списка...» и т. д. [10]).

Однако уместно вспомнить, что Зингер, произведя промышленный переворот, запатентовал не швейную машинку, а «швейную иглу с отверстием для продевания нити на остром конце». Он прекрасно понимал, что все механизмы изобретенного им устройства очень скоро будут усовершенствованы его талантливыми последователями, но иглу с отверстием для продевания нити на остром — а не на тупом, как это

было принято испокон веков — конце в самой технически совершенной швейной машинке никто заменить не сможет. В наследии Лихачева-литературоведа такой «иглой» является его *семиотическая трактовка истории текста*.

Здесь следует сказать еще об одном поразительном открытии Лихачева-литературоведа, находящемся в непосредственной связи с его пониманием текстологии. Это его знаменитое *учение о «хронотипе»*, изложенное в вышедшей вслед за «Текстологией» «Поэтике древнерусской литературы» [11]. Культурологов, разумеется, не может не заинтересовать в этой книге критика Д. С. Лихачевым «евразийства» — именно тогда и возникает в его творчестве осознанная культурологическая тенденция, которая позже «эмансипируется» от его литературоведческих изысканий в самостоятельное направление научной деятельности. Но понятие хронотипа интересно среди прочего тем, что, принадлежа, по существу, к «инвентарю» культурологии, оно возникает из сугубо литературоведческих наблюдений Д. С. Лихачева. Ученый приходит к выводу, что многие текстовые особенности древнерусских памятников не могут быть объяснены иначе, как пониманием древнерусскими книжниками времени иным, нежели то, которое сложилось у современных читателей. В частности, если для современного представления «будущее» оказывается перед пребывающим в «настоящем» человеком, а «прошлое» — позади него, то для древнерусских авторов все было иначе. Человек, по их мнению, «пятился в будущее», оно находилось у него «за спиной». Наши предки жили «в прошлом и настоящем», тогда как мы живем «в настоящем и будущем».

Прочитаешь такое — и задумаешься. Для человека XX века само собой разумеющейся кажется забота о том, что будет. Во имя того, чтобы завтра было хорошим, мы подчас идем на существенные жертвы сегодня. Многие российские «перекося» минувшего столетия как раз и произошли от того, что общество стремилось к будущему, мало заботясь не только о прошлом, но даже и настоящее свое рассматривая как некую дорогу в прекрасное завтра.

Несомненно, лихачевское понятие «хронотипа» еще не до конца осмыслено...

III

Создав целый ряд значительных работ в контексте современной ему филологии, Д. С. Лихачев немало сделал и для *расширения этого контекста*, реализуя, по сути, *междисциплинарный подход к изучению литературных памятников*.

Следует отметить, что эта сторона его научной деятельности сегодня недооценивается некоторыми литературоведами: «В последние годы жизни, да и много раньше Д. С. Лихачев выступил с целым рядом пуб-

лицистических статей и книг о России, русской культуре, интеллигенции, нравственности» [12], — пишет, например, Н. В. Понырко (курсив мой. — А. З.). Примечательно, что в качестве примеров «публицистики» ею называются выдающиеся, важнейшие для гуманитарных наук работы Д. С. Лихачева. Такая оценка содержит очевидный регресс в понимании деятельности академика. Думается, что если уж пытаться переосмыслить оценку, данную этой деятельности Варварой Павловной Адриановой-Перетц, писавшей об «огромном вкладе Дмитрия Сергеевича в различные области научного знания — литературоведение, историю искусства, историю культуры, методологию науки» [13], то никак не в сторону умаления значения «нелитературоведческих» работ до публицистики.

Скорее, для Д. С. Лихачева «литературоведение, история искусства, история культуры, методология науки» не были непреодолимо *различными* областями научного знания. Дело в том, что в современных науках социально-гуманитарного профиля принадлежность исследователя к той или иной научной дисциплине определяется не столько материалом анализа, сколько методом исследования. Например, один и тот же текст может быть рассмотрен литературоведением, лингвистикой, психологией, историей, социологией и т. д. Изучение литературных произведений древности в принципе не могло вестись методами, аналогичными, скажем, литературоведению Нового времени. Слишком велики утраты, наслоения, ошибки переписчиков. Отсюда — особое значение метода реконструкции, когда утраты восстанавливаются по крупницам косвенных свидетельств, когда понимание каждого слова, буквы проверяется выстраиванием своего рода «параллельных рядов» в живописи, музыке, зодчестве, фактах археологических находок и т. д. Тогда литература далеких времен оживает в мире созвучия других явлений культуры, обретает полноценный смысл в целостной и неразрывной культурной ткани.

Изучение древнерусского литературного наследия широко применяло историко-культурологические методы и до появления в секторе «древников» Пушкинского Дома Д. С. Лихачева: «К исследованию древнерусского летописания Дмитрий Сергеевич был подготовлен серьезным критическим изучением трудов своих предшественников, в частности многочисленных работ академика А. А. Шахматова, — пишет В. П. Адрианова-Перетц. И продолжает: — Предстояло существенно углубить “исторический метод” А. А. Шахматова» [14]. И этот метод углубляется путем усиления историко-культурологического аспекта анализа. Дмитрий Сергеевич убедительно показывает, что *литературоведческая и историко-культурологическая рефлексии в научном мышлении не противостоят друг другу, а являются параллельными, взаимно дополняющими и обогащающими познавательными процессами.*

Аксиоматичная цитата «Поэт в России больше чем поэт» приобретает неожиданное смысловое распространение при попытке определить

общее впечатление от научного наследия Д. С. Лихачева. Оказывается, что литературовед в России может быть больше чем литературовед. Дмитрия Сергеевича в последнее время готовы признать своим представителем едва ли не *все области гуманитарного знания*. Возможно, в этой ситуации содержится отмеченное академиком отражение универсальности русской литературы: «По мысли Гейне (“Флорентийские ночи”, гл. I), в Италии “музыка стала нацией”, — писал Лихачев и уточнял: — Я бы сказал, искусства стали нацией. В России же (и это мое утверждение. — Д. Л.) нацией стала литература» [15]. По мнению В. П. Адриановой-Перетц, уже в начале 1950-х годов Д. С. Лихачев выделяется среди современных ему ученых-литературоведов широким научным кругозором, изучая культуру в ее динамике, в культурно-историческом контексте [16].

Существует не разделяемое мною, но весьма интересное и парадоксальное предположение профессора Ю. В. Зобнина [17], что движения Лихачева от литературоведения к культурологии вообще не было, что в его деятельности культурология — это особая форма литературоведения, а литературоведческий анализ осуществлялся им как способ постижения Человека в его личных и общественных проявлениях, в его взаимодействии с природой, миром и т. д. Исходной точкой в этом глобальном исследовании является литературный текст. И он же становится у Лихачева итогом исследования, аккумулируя суть поставленной им проблематики. Так или иначе, но можно предположить, что Д. С. Лихачев не отверг бы в качестве эпиграфа ко всей своей научной деятельности первые слова, когда-либо написанные на славянских языках: «Искони бѣ слово». Правда, такой эпиграф не отразил бы всю специфику деятельности Лихачева-ученого.

Однако широта интересов Лихачева может быть представлена некоторыми его коллегами-филологами и как недостаток, признак если не дилетантизма, то «недостаточной научности». Вспомним, что одним из «моментов самоопределения» современного литературоведения стала статья Б. М. Эйхенбаума со знаменательным названием «Как сделана “Шинель” Гоголя» (1918) [18]. С этого момента стараниями знаменитой ленинградской филологической группы ОПОЯЗ, считавшей эйхенбаумовскую статью своим манифестом, главным и *единственным средоточием собственно литературоведческой научной мысли стал текст художественного произведения*. Все остальные аспекты литературоведения должны были отныне выявлять свои задачу и методы, соотносясь с их участием в анализе художественного текста. Так были впервые научно обоснованы границы литературоведения как науки [19].

Но именно когда эти границы были научно обоснованы, вдруг стало ясно, что *многие великие русские литературные критики — прежде всего Белинский, Чернышевский, Добролюбов, Писарев — в эти границы*

не укладываются. Дело в том, что их интересовало не только (если использовать заглавие-формулу Эйхенбаума), *как* сделана «Шинель», но и то, *почему* «Шинель» сделана именно так. Попытка ответить на второй вопрос заставляла их сопоставлять ту же «Шинель» с другими явлениями культурной жизни России, видеть в литературном художественном тексте не самоцель своих размышлений, а лишь явление культуры в ряду других, далеко не ограниченных сферой литературы вообще. В XIX веке, не знавшем современной классификации гуманитарных наук, это методологическое противоречие воплотилось в спор сторонников «чистого искусства» и сторонников «искусства для жизни».

Но один и тот же ученый может — в зависимости от своих интересов и задач — *менять методологии* в разных исследовательских работах. А может и не менять. И никому сейчас не приходит мысль заниматься «вживисекцией» наследия, например, Белинского или Писарева. Одно дополняет другое.

Подобное мы можем сказать и о Лихачеве. Из того, что многие его коллеги занимались только «узким» литературоведением, вовсе не следует, что сам Лихачев не мог заниматься и литературоведением в узком смысле (в одних своих работах), и изучением литературы в общекультурном контексте (в других) или и тем и другим вместе (в третьих трудах). Ничего невероятного (и тем более — ничего обидного ни для Лихачева, ни для его коллег — «чистых» литературоведов) в этом нет.

Надо отметить, что Лихачев в своей литературоведческо-культурологической «двуипостаси» был далеко не одинок среди современников. Можно назвать сразу несколько соответствующих имен первой величины. Упомяну хотя бы Юрия Михайловича Лотмана, сочетавшего в себе «узкого» и «широкого» литературоведа, может быть, с еще большей, чем Лихачев, диалектической остротой. И действительно, если разработанную Лотманом литературоведческую методiku структурализма (гениальную) применить в качестве оценочного критерия к его же «Беседам о русской культуре» [20] (не менее гениальным), то что-то одно в наследии Лотмана-ученого придется «вывести за рамки» в качестве «хобби».

Между тем Лихачев-новатор *сознательно и бескомпромиссно нарушает в ряде своих работ традиционно принятые в кругах академического литературоведения «правила игры», смело уходя из узко литературоведческой сферы в сферу более широкую.* Обративший на это внимание Р. Милнер-Гулланд цитирует Д. С. Лихачева: «Приходится сожалеть, что у нас слишком мало литературоведов-энциклопедистов, литературоведов, выходящих за пределы своих излюбленных тем» [21].

Д. С. Лихачев развивал литературоведение как органическую часть универсального гуманитарного знания, охватывающего все пространство человеческого бытия. Чем бы ни занимался ученый, везде он

выходил за узкопрофессиональные литературоведческие границы на широкий социально-исторический простор, в многомерность культурного пространства, *вписывал изучаемое явление в контекст целого культуры.*

Даже в те времена, когда академик занимался, казалось бы, «только» литературой Древней Руси [22], его методом был обобщающий культурологический подход, он исследовал такие вопросы, как системный характер и качественное своеобразие древнерусской письменности, пространство и время художественного, общеэстетические характеристики древнерусского творчества.

Но культура никогда не была для Д. С. Лихачева результатом абстрактного «обобщения», арифметической суммой фактов, сведений, имен — он видел ее как целостность, как сущностное ядро обнаружения человека в мире, как многообразие форм такого обнаружения: «Мне представляется чрезвычайно важным, — писал ученый, — рассматривать культуру как некое органическое, целостное явление, как своего рода среду, в которой существуют свои общие для разных аспектов культуры тенденции, законы взаимоотношения и взаимоотталкивания... Мне представляется необходимым рассматривать культуру как определенное пространство, сакральное поле, из которого нельзя, как в игре в бирюльки, изъять одну какую-либо часть, не сдвинув остальные» [23].

В этом плане Дмитрий Лихачев шел в русле главных тенденций российской науки XX века, для которой «культурологизм» всегда был имманентно присущей характеристикой, а потребность выходить на широкие культурологические обобщения вытекала из самой логики литературоведческого научного поиска. Постигал ли социально-историческую сущность психического Л. С. Выготский, исследовал ли языковые и литературные закономерности Ю. Н. Тынянов, изучал ли историю философии А. Ф. Лосев, познавал ли природу сказки В. Я. Пропп, выявлял ли особенности пушкинской поэтики Р. О. Якобсон, прослеживал ли диалоговую природу художественного сознания М. М. Бахтин, исследовала ли природу мифа О. М. Фрейдберг — всюду мы видим выход на широкие культурологические горизонты. И эта традиция целостного постижения культуры, выдающимся представителем которой является Д. С. Лихачев, в высшей степени присуща отечественной гуманитарной мысли, а возможно, и является главной ее отличительной чертой.

Итак, Д. С. Лихачев максимально усиливает в литературоведении русскую традицию целостного постижения, объемного видения культуры.

Как теоретик, Дмитрию Сергеевичу свойствен именно концептуальный взгляд на сущность и место культуры в жизни человека и общества. Следует отметить, что базовые, основополагающие воззрения ученого на культуру практически совпадают с классическими, общепринятыми в данной отрасли знания. Культура в его понимании есть челове-

ческая форма жизни, то, что выделяет человека из природы и отличает от других живых существ. Это — человеческое пространство и человеческий способ существования в мире. Как справедливо отмечает академик А. А. Гусейнов, для культурологической концепции Дмитрия Сергеевича особую роль играют два положения: *культура исторична и культура целостна* [24].

Культура цементирует человеческую общность, придает ей ориентиры и самобытность. «Культура — это огромное целостное явление, которое делает людей, населяющих определенное пространство, из простого населения — народом, нацией. В понятие культуры должны входить и всегда входили религия, наука, образование, нравственные и моральные нормы поведения людей и государства» [25], — пишет Д. С. Лихачев. Культура как пространство, имеющее объем и глубину, культура как духовный континуум обнаружения, возвращения и сохранения ценностей человеческого существования — вот, пожалуй, что могло бы стать обобщающей формулой лихачевского подхода.

И такой подход приносит удивительные плоды ученому. Практически в каждой своей работе Д. С. Лихачев уже в первых строках, а иногда даже в наименовании [26] дает читателю понять, что предметом его исследования является не просто то или иное явление, а его культурно-историческое измерение [27]. В результате деятельности академика, *интегрированные культурологией, поднимаются на качественно иной уровень междисциплинарные связи литературы и истории* [28].

Разумеется, литература — свидетель истории. Но свидетель своеобразный, скорее даже свидетель-соучастник. Литература в трудах Д. С. Лихачева предстает не только отражением, но и своеобразным проявлением действительности, и эта функция налагает на литературные произведения характерный отпечаток, определяет их национальный колорит. «Русская литература — часть русской истории, — писал Лихачев, — она отражает русскую действительность, но и составляет одну из ее важнейших сторон. Без русской литературы невозможно представить себе русскую историю и, уж конечно, русскую культуру» [29]. Эта позиция ярко проявилась в исследованиях Д. С. Лихачева, посвященных «Слову о полку Игореве». Уже в статье «Исторический и политический кругозор автора “Слова о полку Игореве”», вышедшей в свет в 1950 году, Д. С. Лихачев убедительно показал тесную связь образов «Слова» и исторических реалий того времени [30].

Памятники культуры, и в том числе литературные произведения, по мнению Лихачева, обладали большим влиянием на социум своего времени. Возражая исследователям, которые писали о бесперспективности призывов автора «Слова о полку Игореве» к объединению князей в эпоху феодальной раздробленности, ученый отмечал: «Однако подлинный смысл призыва автора “Слова”, может быть, заключался не в попытке

организовать тот или иной поход, а в более широкой и смелой задаче — объединить общественное мнение против феодальных раздоров князей, заклеить в общественном мнении вредные феодальные представления, мобилизовать общественное мнение против походов князьями личной славы, личной чести... Задачей “Слова” было не только военное, но и идейное сплочение русских людей» [31]. Эта мысль о том, что «идейное сплочение» даже в глубокой древности играло отнюдь не меньшую роль, чем военные или политические мероприятия, неоднократно высказывалась Лихачевым и в дальнейшем.

Однако *литература не только свидетель и участник истории*. Под влиянием Д. С. Лихачева летописи начинают «прочитываться» по-иному, и их значение для исторической науки становится более многомерным. Следует признать, что до Лихачева вымысел и художественность значительно снижали в глазах историков ценность литературных произведений как исторических фактов, исторических памятников. Для него же *вымысел и художественность сами по себе предстают историческими фактами*.

Особая субъективная включенность литературных памятников в культурно-исторический контекст эпохи делает их, по мнению Дмитрия Сергеевича, и особым историческим источником. Субъективный характер авторских оценок и суждений в глазах ученого только усиливает привлекательность источника для истинного исследователя. «Ни одно произведение прежних веков, — писал Лихачев, — не может быть объявлено “плохим историческим источником”. Нет плохих исторических источников, есть только плохие источниковеды» [32]. Детализируя это положение, он отмечал: «Само произведение — “осколок” прошлого и в качестве такового является свидетельством ошибочных или недостаточных представлений, существовавших о прошлом, памятником общественной мысли прошлого, свидетельством об эстетическом уровне прошлого и т. д.» [33].

Применительно к «Слову о полку Игореве» Д. С. Лихачев писал еще более полемично, даже резко: «Если “Слово” — “сплошное вранье”, то и это, как ни парадоксально это звучит, представляет собой источник чрезвычайного значения: “вранье” — свидетельство психологии своего времени (ибо в каждом обмане есть своя тенденция: общественная или просто эстетическая)» [34]. Конечно, сам Д. С. Лихачев «Слово о полку Игореве» «враньем» не считал и, напротив, вел довольно жесткую полемику с теми, кто доказывал более позднее происхождение «Слова». Но и будучи отделенной от полемического контекста, данная фраза имеет вполне самостоятельный глубокий смысл, звучит весьма актуально и сегодня. Ведь некоторые исследователи по-прежнему явно недооценивают роль художественных произведений в качестве исторического источника, ставят их неизмеримо ниже, скажем, деловой переписки. Им-то и ад-

ресовано четкое определение Д. С. Лихачева: «...степень... точности... никогда не является безусловной» [35]. Из этого вытекает, что сами условия, факторы, обуславливающие точность, должны быть включены в контекст исторического исследования.

Следует особо отметить, что наиболее ценной в памятниках литературы, шире — культуры для ученого является созидательная сила человеческого таланта. В различных его трудах настойчиво звучит мысль о том, что успешное развитие общества и отдельной личности возможно только на основе культуры.

К тому же культура не просто «целостность». У нее есть вектор развития, направление, скрепляющий ее внутренний стержень. Целостность культуры распадается либо остается чисто формальной, если ее не скрепляет единая идея. Для Д. С. Лихачева это — ее нравственная составляющая как необходимое условие полноценного человеческого бытия [36]. Вопрос о том, что такое культура, перерастает в вопрос, что делает (или не делает) культура, как она воздействует (или не воздействует) на личность [37]. Конечно же, ученый видел в культуре и идеальное измерение человеческого бытия, его духовную составляющую. Заметим, что в том же ключе рассматривал проблему идеального выдающийся российский философ Эвальд Ильенков, для которого идеальное, духовное было смысловым наполнением человеческого существования [38].

Дмитрий Сергеевич отчетливо сознавал, что современный нравственный кризис, разгул нигилизма и вседозволенности, жажда обогащения любой ценой, настоящий шабаш массовой псевдокультуры связаны именно с потерей культурных корней, с утратой «нравственной оседлости», разрушением духовно-личностных опор. Чем жив человек? — вот исходная точка размышлений великого ученого.

Нетривиален его подход к постижению *исторических закономерностей развития культуры*. Как ученый XX века, Д. С. Лихачев не разделял упрощенно-просветительские взгляды на эволюцию культуры, не питал иллюзий насчет ее «однолинейного прогресса». Вместе с тем не был он и сторонником концепций «культурно-исторических циклов», «замкнутых цивилизаций» типа Шпенглера–Тойнби [39]. Его позиция, если можно так выразиться, отчасти вбирала в себя и то, и другое. Отчетливо видя качественное своеобразие культурно-исторических эпох, вступающих во взаимный диалог, чувствуя «уникальный лик» каждой из них, Лихачев тем не менее был убежден в существовании «сквозных линий» в историческом движении, в присутствии общих тенденций, в наличии общей направленности культурного развития.

Указанная общая направленность существует в движении «от хаоса к гармонии», в постепенном, все более отчетливом выявлении высших смыслов человеческого бытия, в приближении к свободе, в нарастании гуманистического начала.

В этом Д. С. Лихачев был близок к позиции выдающегося русского ученого Николая Конрада, высказанной им в известной книге «Запад и Восток». Прекрасно понимая всю сложность, противоречивость, порой катастрофичность исторического развития, Н. И. Конрад верил в наличие идеи, пропитывающей и объединяющей разрозненные явления культурной мозаики. Это была для него идея гуманизма. «Идея гуманизма есть высшая по своей общественной значимости этическая категория. Она всегда была высшим критерием настоящего человеческого прогресса» [40].

Характерна в данном плане работа Д. С. Лихачева «Прогрессивные линии развития в истории русской литературы» [41]. Создана она была на материале эволюции художественного творчества, казалось бы, менее всего поддающегося истолкованию в терминах «прогресса». И все-таки ученый обосновывал наличие общих составляющих, сквозных тенденций литературного развития. К ним он относил: снижение прямолинейной условности, возрастание организованности и личностного начала, увеличение удельного веса «сектора свободы», рост и обогащение гуманистического сознания и ряд других. Само развитие литературы и искусства академик представлял как сложный диалог, взаимопереплетение и взаимоперекличку школ, направлений, сюжетов и тематики, как «контрапункт стилей».

Анализируя динамику литературных и — шире — культурных процессов, Д. С. Лихачев приходит к выводу, что культура не столько (а может быть, и не столько) меняется, эволюционирует, сколько накапливается, усваивается (или не усваивается), создается (или утрачивается). Прошлое не уходит бесследно, не «заменяется» настоящим, а продолжается в нем, лишь трансформируясь, обновляясь, меняя формы, принимая другие облики. С этими представлениями было связано видение ученым судьбы древнерусской культуры — центра его научных интересов в первой половине XX века. Академик показывает, что в определенный период «забвение» древнерусской литературы было относительно, что, по сути дела, традиция древнерусской культуры никогда не умирала [42].

IV

Сформировавшись в научном плане первоначально в сфере литературоведения, Дмитрий Сергеевич на завершающем этапе своего пути становится ученым-гуманитарием синтетического типа, формулирующим наддисциплинарные научные идеи и концепции, к полноценному осмыслению и тем более разработке которых гуманитарная наука пока только приближается. К числу таковых в первую очередь следует отнести лихачевское понятие концептосферы языка.

Культура, по Лихачеву, может быть представлена как поле явлений, имеющих языковые значения. В связи с этим представляется исключи-

тельно важной разработкой академиком понятия *концептосферы языка*. «Концепт, — пояснял ученый, — не непосредственно возникает из значения слова, а является результатом столкновения словарного значения слова с личным и народным опытом человека» [43]. Так возникает концептосфера языка, под которой Лихачев понимал «слова-концентраторы культурных значений», несущие специфические ценности, отражающие своеобразие и уникальность данной национальной общности. Смысловое содержание языковых единиц он рассматривал в тесной связи с этнокультурным наполнением. Структура и значение языковых единиц, по Лихачеву, непосредственно выводят нас в сферу социально-исторических закономерностей.

Размышляя над первой фразой Евангелия от Иоанна «В начале было Слово», Д. С. Лихачев неоднократно подчеркивал, что Слово в русской культуре — нечто большее, чем имя вещей. Это нечто предваряющее саму действительность, это идея, определяющая ее воплощение, Логос, который предшествует бытию, определяя все его реальные проявления.

Лихачев раскрыл особую роль национального языка, мир которого удерживает культуру как системную целостность, концентрирует культурные смыслы на всех уровнях бытия — от нации в целом до отдельной личности: «Одно из самых главных проявлений культуры — язык. Язык не просто средство коммуникации, но прежде всего творец, создатель. Не только культура, но и весь мир берет свое начало в Слове. Слово, язык помогают нам видеть, замечать и понимать то, чего мы без него не увидели бы и не поняли, открывают человеку окружающий мир. Явление, которое не имеет названия, как бы отсутствует в мире. Мы можем его только угадывать с помощью других связанных с ним и уже названных явлений, но как нечто оригинальное, самобытное оно для человечества отсутствует. Отсюда ясно, какое огромное значение имеет для народа богатство языка, определяющее богатство “культурного осознания” мира» [44].

Национальный язык, считал академик, не только средство общения или знаковая система передачи информации, он выступает «заместителем» русской культуры, формой концентрации ее духовного богатства [45]. *В этих идеях ученого видится методологический «ключ» к пониманию особой роли языка и литературы в развитии российского этноса.*

XX век — время дифференциации научного знания, доведенной во многих случаях до абсурда. Казалось бы, эра ученых-энциклопедистов закончилась в XVIII столетии. Однако теперь яркие открытия совершаются чаще всего на «стыках» наук. По меткому замечанию академика В. Л. Янина, Д. С. Лихачев являет собой пример одного из главных основоположников современной интеграции гуманитарных наук: «Он открыл для себя и для всех нас то связующее звено, которое соединяет

<...> прежде дифференцированные дисциплины. Базисом любого национального развития, как это было им доказано, является культура...» [46] Осмысление литературы как органической части этой системы, по всей видимости, способно принести замечательные плоды новым и новым поколениям последователей Дмитрия Сергеевича.

Примечания

1. *Адрианова-Перетц В. П.* Краткий очерк научной, педагогической и общественной деятельности // Дмитрий Сергеевич Лихачев. М. : Наука, 1966. С. 6–27. (Материалы к биобиблиогр. ученых СССР. Сер. лит. и яз. ; Вып. 7).
2. *Адрианова-Перетц В. П., Салмина М. А.* Краткий очерк научной, педагогической и общественной деятельности // Дмитрий Сергеевич Лихачев. 3-е изд. М. : Наука, 1989. С. 11–42. (Материалы к биобиблиогр. ученых СССР. Сер. лит. и яз. ; Вып. 17) ; *Запесоцкий А. С.* Дмитрий Лихачев — великий русский культуролог. СПб. : СПбГУП, 2007 ; Очень^{UM}. 2006/2007. № 1. Спец. вып. к 100-летию со дня рождения Дмитрия Сергеевича Лихачева ; Интернет-сайт «Площадь Лихачева»: <http://www.lihachev.ru>
3. *Лихачев Д. С.* Проповедь или поступок? // Русская литература. 1998. № 2. С. 212–213.
4. *Лихачев Д. С.* Текстология: на материале русской литературы X–XVII вв. СПб. : Алетейя, 2001. С. 26.
5. Там же. С. 62.
6. Там же. С. 64.
7. Там же. С. 65.
8. Там же. С. 33.
9. Там же. С. 45–46.
10. Там же. С. 177.
11. *Лихачев Д. С.* Поэтика древнерусской литературы. 3-е изд., доп. М. : Наука, 1979.
12. *Поньрко Н. В.* Хранитель культурного наследия России. К 100-летию со дня рождения академика Д. С. Лихачева // Вестник РАН. 2006. Т. 76, № 11. С. 1026.
13. *Адрианова-Перетц В. П., Салмина М. А.* Указ. соч. С. 39.
14. Там же. С. 12.
15. *Лихачев Д. С.* Петровские реформы и развитие русской культуры // Лихачев Д. С. Избранные труды по русской и мировой культуре. СПб. : СПбГУП, 2006. С. 170.
16. *Адрианова-Перетц В. П., Салмина М. А.* Указ. соч. С. 40.
17. Ю. В. Зобнин — доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой литературы и русского языка СПбГУП, коллега Д. С. Лихачева по Институту русской литературы (Пушкинскому Дому).
18. *Эйхенбаум Б. М.* Как сделана «Шинель» Гоголя // Эйхенбаум Б. М. О прозе. Л. : Худож. лит., 1969. С. 306–326.

19. См. подробнее: *Запесоцкий А. С.* О научном наследии Дмитрия Лихачева // Вопросы литературы. 2006. № 6. С. 52–59.
20. *Лотман Ю. М.* Беседы о русской культуре. СПб. : Искусство, 1994.
21. *Milner-Gulland R. Dmitrii Sergeevich Likhachev (1906–1999)* // Slavonica. Sheffield, 1999–2000. Vol. 6, N 1. P. 149. Робин Милнер-Гулланд — профессор русских и восточноевропейских исследований университета Sussex, автор ряда статей и книг по русской культуре
22. См.: *Лихачев Д. С.* Поэтика древнерусской литературы.
23. *Лихачев Д. С.* Культура как целостная среда // Лихачев Д. С. Избранные труды по русской и мировой культуре. С. 350.
24. *Гусейнов А. А.* О культурологии Д. С. Лихачева // Гусейнов А. А., Запесоцкий А. С. Культурология Дмитрия Лихачева. СПб. : СПбГУП, 2006. С. 25.
25. *Лихачев Д. С.* Культура как целостная среда. С. 349.
26. Характерно, что в названиях многих книг Дмитрий Сергеевич включает понятие «культура»: «Культура Руси эпохи образования Русского национального государства»; «Русские летописи и их культурно-историческое значение»; «Культура русского народа X–XVII вв.»; «Культура Руси времени Андрея Рублева и Епифания Премудрого (конец XIV — начало XV в.)»; «“Слово о полку Игореве” и культура его времени».
27. *Milner-Gulland R.* Op. cit. P. 146.
28. Подробнее см.: *Запесоцкий А. С.* К вопросу об исторической концепции Д. С. Лихачева // Отечественная история. 2007. № 2.
29. *Лихачев Д. С.* Развитие русской литературы X–XVII веков. 3-е изд. СПб. : Наука, 1998. С. 10.
30. *Лихачев Д. С.* Исторический и политический кругозор автора «Слова о полку Игореве» // Слово о полку Игореве : сб. исслед. и ст. М. ; Л., 1950.
31. *Лихачев Д. С.* Исторические и политические представления автора «Слова о полку Игореве» // Лихачев Д. С. «Слово о полку Игореве» и культура его времени. 2-е изд., доп. Л. : Худож. лит., 1985. С. 144.
32. *Лихачев Д. С.* К вопросу о «Слове о полку Игореве» как историческом источнике // Там же. С. 176.
33. Там же. С. 177.
34. Там же. С. 178–179.
35. Там же. С. 177.
36. Подробнее см.: *Запесоцкий А. С.* Культурософия Д. С. Лихачева и вызовы эпохи // Человек. 2007. № 1. С. 5–15.
37. См. подробнее: *Запесоцкий А. С.* Педагогическое наследие академика Д. С. Лихачева // Педагогика. 2006. № 3. С. 44–54.
38. *Ильенков Э. В.* Философия и культура. М. : Политиздат, 1991.
39. *Шпенглер О.* Закат Европы. М. : Искусство, 1993 ; *Тойнби А.* Исследование истории. СПб. : Изд-во С.-Петербур. ун-та : Изд-во Олега Абышко, 2006.
40. *Конрад Н. И.* О смысле истории // Конрад Н. И. Запад и Восток : ст. М. : Гл. ред. восточной литературы, 1972. С. 485.

41. *Лихачев Д. С.* Прогрессивные линии развития в истории русской литературы // Лихачев Д. С. Избранные труды по русской и мировой культуре. С. 44–86.
42. *Лихачев Д. С.* Русская культура Нового времени и Древняя Русь // Там же. С. 178.
43. *Лихачев Д. С.* Концептосфера русского языка // Там же. С. 319.
44. *Лихачев Д. С.* Культура как целостная среда. С. 354–355.
45. *Лихачев Д. С.* Концептосфера русского языка. С. 324.
46. *Запесоцкий А. С.* Дмитрий Лихачев — великий русский культуролог. С. 5.

О РУССКОМ ЯЗЫКЕ*

Становление Дмитрия Сергеевича как ученого происходило в эпоху, когда вопросы языкознания перестали быть прерогативой узкого круга академических специалистов и, выйдя за пределы университетских аудиторий, весьма громко зазвучали в религии, философии, общественно-политической жизни. В этом историческом контексте формировались *взгляды Лихачева на природу языка в целом и на русский язык в частности*. С юных лет и до конца жизни он пронес стойкое убеждение в том, что «каждый интеллигентный человек должен быть хотя бы немного филологом» [1], «ибо слово стоит в начале культуры и завершает ее, выражает ее» [2].

«Существует представление о том, что науки, развиваясь, дифференцируются, — писал Д. С. Лихачев. — Кажется поэтому, что разделение филологии на ряд наук, из которых главнейшие — лингвистика и литературоведение, — дело неизбежное и, в сущности, хорошее. Это глубокое заблуждение. Количество наук действительно возрастает, но появление новых идет не только за счет их дифференциации и “специализации”, но и за счет возникновения связующих дисциплин. Сливаются физика и химия, образуя ряд промежуточных дисциплин, с соседними и несоседними науками вступает в связь математика, происходит “математизация” многих наук. И замечательно: продвижение наших знаний о мире происходит именно в промежутках между “традиционными” науками. Роль филологии именно связующая, а поэтому и особенно важная. Она связывает историческое источниковедение с языкознанием и литературоведением. Она придает широкий аспект изучению истории текста. Она соединяет литературоведение и языкознание в области изучения стиля произведения — наиболее сложной области литературоведения. По своей сути филология антиформалистична, ибо учит

* Печатается по книге «Культурология Дмитрия Лихачева» (изд-во «Наука», 2007): см. № 23 Библиографического указателя.

Использованы отдельные материалы кандидатской диссертации «Изучение русской повседневной картины мира в лингвокультурологическом аспекте» М. А. Евдокимычевой, преподавателя СПбГУП, выполнившей исследования в аспирантуре под руководством профессора Ю. В. Зобнина.

правильно понимать смысл текста, будь то исторический источник или художественный памятник. Она требует глубоких знаний не только по истории языков, но и знаний реалий той или иной эпохи, эстетических представлений своего времени, истории идей и т. п.» [3].

Попытаемся хотя бы бегло очертить те «реалии эпохи, эстетические представления, историю идей», которые и определили «любословие» самого Лихачева.

В начале 1910-х годов в православном богословии весьма громко заявили о себе «филологические» аспекты. На Афоне, в традиционной «цитадели» греко-русского православия, строго хранившей чистоту ортодоксальных взглядов на христианское вероучение, распространилось учение монаха Илариона, который считал, что «Имя Бога и имя Иисус есть Сам Бог». Синод признал это учение ересью, и в 1913 году движение «имябожцев» было подавлено, однако в русской культуре, и прежде всего в русской модернистской литературе этого времени, оно вызвало значительный интерес. Дело в том, что главным аспектом данной богословской полемики был *вопрос о природе и возможностях слова*, прямо перекликавшийся с многочисленными заявлениями русских символистов о магической природе слова, о возможностях вербальной энергии, действия словом.

Иларион и «имябожцы» также полагали, что само слово «Иисус» содержит в своих материальных филологических характеристиках некую «идеальную энергию», делающую это слово орудием (или оружием) для того, кто его произносит. Их взгляды восходили к старым классическим православным богословским проблематикам, содержащимся как в полемике вокруг так называемого «иконоборства», так и в полемике вокруг исихазма (последняя, как известно, дала мировой культуре величайшего православного богослова и философа Григория Паламу, учившего об «энергетическом» присутствии и действии Бога в мире). Д. С. Лихачев живо интересовался исихазмом. О своей беседе с академиком на эту тему вспоминал, например, Робин Милнер-Гулланд [4].

Впрочем, не вдаваясь в тонкости истории русского богословия начала XX века, отметим только, что на светском, культурном уровне она с новой силой инициировала начатый еще в 1890-е годы первыми русскими символистами разговор о могуществе писателя (шире — о могуществе «человека говорящего»), сознательно владеющего тайной слов [5]. О силе слова в 1910–1920-е годы заговорили наследники символистов — акмеисты и футуристы, равно оглядывающиеся на «ересь имябожцев» в своих спорах о природе слова как такового. Самым знаменитым отголоском «имябожества» в русском искусстве XX века стали стихи О. Э. Мандельштама, написанные в 1915 году и затем вошедшие во второе издание его «Камня» (1916).

И поныне на Афоне
Древо чудное растет,
На крутом зеленом склоне
Имя Божие поет.

В каждой радуются келье
Имябожцы — мужики:
Слово — чистое веселье,
Исцеленье от тоски!

Всенародно, громогласно
Чернецы осуждены;
Но от ереси прекрасной
Мы спастись не должны.

Каждый раз, когда мы любим,
Мы в нее впадаем вновь.
Безымянную мы губим
Вместе с именем любовь.

В последнем четверостишии содержится указание на ту потенциально содержащуюся в «имябожии» тенденцию, которая могла превратить (и превратила) эту богословскую проблематику в проблематику философскую и даже филологическую, хотя и не лишенную идеалистической основы.

«Имябожие» после его отрицательной оценки в качестве «ереси» трансформировалось в истории русской религиозно-философской мысли XX века в «имячеловечье», то есть в знаменитое «имяславие», в числе апологетов которого были П. Флоренский, Вяч. Иванов, Н. Бердяев и, конечно, прежде всего А. Лосев с его «Философией имени» [6], генетически связанной с «имяславскими» спорами начала века. Для Лосева имя было особым местом встречи «смысла» человеческой мысли и имманентного «смысла» предметного бытия. Имя в своем законченном выражении понималось как идея, улавливающая и очерчивающая эйдос — существо предмета. Наибольшую полноту и глубину имя обретает, когда охватывает и сокровенный смысл бытия. Философия имени, по Лосеву, совпадала с диалектикой самопознания бытия и философией вообще, так как «“имя”, понятое онтологически, являлось вершиной бытия, которая достигалась в его имманентном самораскрытии» [7].

Выступая в последние годы жизни по проблеме сохранения стилистически «высокого» русского языка, *Д. С. Лихачев утверждал именно «имяславское» понимание слова как первичного начала в бытии. Для него существование слова было тесно связано с существованием*

относимого к слову феномена, причем второй оказывался подчиненным первому. Сказать что-либо означает «сделать», «вызвать к жизни» то, о чем говорится. И, наоборот, сказать «неправильно» или вовсе «промолчать» — в лихачевском мировосприятии — оказать разрушительное воздействие на окружающую нас реальность.

Крайне любопытно в связи с этим интервью, данное Лихачевым в 1996 году: трагические несообразности тогдашнего русского быта академик отчасти объяснял деформацией лексики русского языка в «новорусскую эпоху». «Слова исчезли вместе с явлениями, — заявлял ученый. — Часто ли мы слышим “милосердие”, “доброжелательность”? Этого нет в жизни, поэтому нет и в языке. Или вот “порядочность”. Николай Калинин Гудзий меня всегда поражал — о ком бы я ни заговорил, он спрашивал: “А он порядочный человек?” Это означало, что человек не доносчик, не украдет из статьи своего товарища, не выступит с его разоблачением, не зачитает книгу, не обидит женщину, не нарушит слова. А “любезность”? “Вы оказали мне любезность”. Это добрая услуга, не оскорбляющая своим покровительством лицо, которому она оказывается. “Любезный человек”. Целый ряд слов исчезли с понятиями. Скажем, “воспитанный человек”. Он воспитанный человек. Это, прежде всего, раньше говорилось о человеке, которого хотели похвалить. Понятие воспитанности сейчас отсутствует, его даже не поймут. <...> Общая деградация нас как нации сказалась на языке прежде всего. Без умения обратиться друг к другу мы теряем себя как народ. Как жить без умения назвать? Недаром в Книге Бытия Бог, создав животных, привел их к Адаму, чтобы тот дал им имена. Без этих имен человек бы не отличил коровы от козы. Когда Адам дал им имена, он их заметил. Вообще заметить какое-нибудь явление — это дать ему имя, создать термин, поэтому в Средние века наука занималась главным образом названием, созданием терминологии. Это был целый такой период — схоластический. Называние уже было познанием. Когда открывали остров, ему давали название, и только тогда это было географическим открытием. Без названия открытия не было» [8].

Как уже говорилось, «филологический аспект» в первой половине XX века громко заявил о себе не только в сфере религиозно-философской мысли, но и в политике. В Советском Союзе экспансия коммунистического интернационализма породила борьбу с традиционалистскими основами русского национального бытия. Принципиально важным моментом этой борьбы для новой власти было искоренение целого стилистического пласта русского языка, связанного с церковнославянским языком. Атака началась с отмены в 1918 году так называемой «старой орфографии» и продолжалась вплоть до последних десятилетий существования коммунистического режима, стремившегося искоренить в русском лексиконе все «поповские слова» — от «милосердия» до «бла-

гонадежности». Борьба за «несоветское слово» стала важной формой духовного сопротивления русских писателей XX века:

Мне не надо пропуска ночного —
Часовых я не боюсь:
За блаженное бессмысленное слово
Я в ночи советской помолюсь.

(О. Мандельштам)

Параллельно с «зачисткой» светской речи советских людей, в 1920–1930-е годы шла борьба и в сугубо духовной сфере, связанная с искусственным внедрением с подачи Антирелигиозной комиссии ЦК ВКП(б) совместно с Секретным отделом ГПУ в православную церковную среду «обновленцев» — священников (многие из которых были секретными агентами чекистов), требовавших перевода церковного богослужения с церковнославянского языка на русский [9].

В этом контексте принципиально важной представляется точка зрения на *роль церковнославянского языка в русской культуре*, полнее всего высказанная Д. С. Лихачевым (как известно, прихожанином храма Святого равноапостольного кн. Владимира) в статье «Русский язык в богослужении и богословской мысли», к сожалению, сейчас малоизвестной, где ученый создает вдохновенный гимн церковнославянскому языку как современному, действующему языку русской нации: «Не впервые поднимается вопрос о переводе богослужебных текстов на обыденный русский язык, — пишет Лихачев, отвечая на популярные в 1990-е годы призывы “модернизировать” русское православие. — Основанием к тому в глазах сторонников такого перевода является необходимость сделать богослужение более понятным. Такие попытки были особенно часты сразу после революции, в пору усилий государства подчинить себе Церковь, что привело к появлению разного рода обновленческих “красных” и прочих церковных объединений. Народ тогда не принял богослужения на русском языке. Обновленческие церкви стояли пустыми... “Непонятность” богослужения заключается не только в языке. По-настоящему непонятно богослужение для тех, кто не знает основ православного учения. Именно с учением Церкви должен познакомиться человек, желающий посещать церковь, а “непонятность” языка — дело второстепенное. Преодоление препятствия со стороны постижения языка — несложно (это не латинский язык в католическом богослужении). “Непонятность” богослужения лишь усилится, если языком его станет разговорный (обыденный, обывательский) язык, не имеющий всех богословских нюансов в своем словаре, лишенный традиционных фразеологизмов. И это тогда, когда существует близкий язык, но обладающий тысячелетним опытом молитвенного, богослужебного, богословского

употребления. “Господи, помилуй” и “Господи, прости” — различны по своему значению. Итак, первое мое возражение против перевода богослужения на русский язык состоит в том, что при таком переводе и богослужение, и богословская мысль не станут сколько-нибудь более понятными, а существующая традиция прервется. Для обывателя же “непонятность” богослужения во многом обострится. Некто утверждает: “Вот я зашел в церковь и плохо понял, о чем там пелось и говорилось”. Но когда человек старается понять смысл службы, он, может быть впервые, совершает духовную работу. Откуда же требование, чтобы Церковь шла на уступки обывателю? Не Церковь должна кланяться обывателю, а обыватель — Церкви» [10].

В России (и отчасти в других славянских странах) церковнославянский язык объединял культуру не только по горизонтали, но и по вертикали: культуру Древней Руси и культуру Нового времени, делая понятными высокие духовные ценности, которыми жива была Русь первых семи веков своего существования. Это способствовало сохранению самосознания русских, живших на территории других государств, и теперь объединяет Русскую зарубежную церковь с Родиной. «Если мы откажемся от языка, который великолепно знали и вводили в свои сочинения Ломоносов, Державин, Пушкин, Лермонтов, Тютчев, Достоевский, Лесков, Толстой, Бунин и многие-многие другие, утраты в нашем понимании русской культуры начала веков будут невосполнимы. Церковнославянский язык — постоянный источник для понимания русского языка, сохранения его словарного запаса, обостренного постижения эмоционального звучания русского слова. Это язык благородной культуры: в нем нет грязных слов, на нем нельзя говорить в грубом тоне, браниться. Это язык, который предполагает определенный уровень нравственной культуры. Церковнославянский язык, таким образом, имеет значение не только для понимания русской духовной культуры, но и большое образовательное и воспитательное значение. Отказ от употребления его в Церкви, изучения в школе приведет к дальнейшему падению культуры в России. Русский язык “очищается”, облагораживается в Церкви. Да, Евангелие должно проповедоваться на всех языках. В изданиях, где оно печатается параллельно на церковнославянском и русском языках, уточняется смысл отдельных выражений, разъясняется значение каждого слова. Русский язык никто не изгоняет из Церкви, но обращенные к Богу, Божией Матери, к святым слова должны быть свободны от обыденщины, не соприкасаемы с бранью и вульгарщиной. Убежден, что необходимо сохранить верность тому сочетанию двух близких друг другу языков, которые исторически постоянно соприкасались в летописях, в посланиях Церкви и патриархов, в обращениях к народу патриархов и других иерархов Церкви, в проповедях (число которых в Церкви должно постоянно расти)», — утверждает Дмитрий Сергеевич [11].

Академик считает: у церковнославянского стилистического слоя в современном русском языке есть «антидвойник», претендующий на замещение в современной русской речи церковнославянизмов. Это — *матерная лексика*, которой, по мнению Д. С. Лихачева, пользуются в качестве «опознавательного» стилистического средства люди, отвергающие базовые культурные ценности России. Рассказывая о времени своего заключения в Соловецких лагерях, Лихачев, упоминая о мате в языке заключенных, делится поразительными наблюдениями: «Я просто не мог материться. Если бы я даже решил про себя, ничего бы не вышло. На Соловках я встретил коллекционера Николая Николаевича Виноградова. Он попал по уголовному делу на Соловки и вскоре стал своим человеком у начальства. И все потому, что он ругался матом. За это многое прощалось. Расстреливали чаще всего тех, кто не ругался. Они были “чужие”. <...> Я тоже оказался чужим. Чем я им не угодил? Тем, очевидно, что ходил в студенческой фуражке. Я ее носил для того, чтоб не били палками. Около дверей, особенно в тринадцатую роту, всегда стояли с палками молодчики. Толпа валила в обе стороны, лестницы не хватало, в храмах (как известно, страшные Соловецкие лагеря размещались в храмах и других помещениях бывшего монастырского комплекса. — *Примеч. авт.*) трехэтажные нары были, и поэтому, чтобы быстрее шли, заключенных гнали палками. И вот, чтобы меня не били, чтобы отличаться от шпаны, я надевал студенческую фуражку. И, действительно, меня ни разу не ударили. Только однажды, когда эшелон с нашим этапом пришел в Кемь. Я стоял уже внизу, у вагона, а сверху охранник гнал всех и тогда ударил сапогом в лицо... Ломали волю, делили на “своих” и “чужих”. Вот тогда и мат пускался в ход. Когда человек матерился — этот свой. Если он не матерился, от него можно было ожидать, что он будет сопротивляться. Поэтому Виноградову и удалось стать своим — он матерился, и когда его освободили, стал директором музея на Соловках. Он жил в двух измерениях: первое определялось внутренней потребностью делать добро, и он спасал интеллигентов и меня спасал от общих работ. Другое определялось потребностью приспособиться, выжить. Во главе Ленинградской писательской организации одно время был Прокофьев. В обкоме он считался своим, хотя всю жизнь был сын городского, он умел ругаться и оттого умел как-то находить общий язык с начальством. А интеллигентов, даже искренне верящих в социализм, отвергали с ходу — слишком интеллигенты, а потому не свои» [12].

Говоря об отношении Лихачева к языку, нельзя обойти в его творческом наследии и собственно *лингвистические научные работы*. Наука о языке и наука о литературе — две сферы «любословия» — оказываются труднорасторжимыми в гуманитарном мышлении. Разумеется, лингвистическая проблематика присутствовала в «исследовательском поле» Лихачева менее активно, нежели проблематика литературоведческая,

но тем не менее весьма яркие научные результаты были получены им и здесь. Особо следует выделить его *учение о концептах*, сформировавшееся в результате многолетнего интереса к феномену слова.

Статья Д. С. Лихачева «Концептосфера русского языка» написана в 1991 году в продолжение начатых еще в 1920-е годы С. А. Аскольдовым-Алексеевым размышлений о природе «общих понятий» или «концептов». Что побудило этого крупного ученого обратиться к соотношению слова и концепта, почему термин, столь недоверчиво вначале принятый научной общественностью, вызвавший множество споров, все же вошел в научный обиход и прочно в нем утвердился?

Сергей Алексеевич Алексеев (Аскольдов — псевдоним) — один из ярчайших философов первой половины XX века, занимавшийся проблемами теории познания и этики. Именно его статья 1928 года «Концепт и слово» [13] положила начало концептуально-культурологическому направлению в современной гуманитарной науке и побудила таких известных ученых, как Д. С. Лихачев, В. П. Нерознак, Ю. С. Степанов заниматься дальнейшими научными изысканиями в этой области. С. А. Аскольдов-Алексеев исходил из того, что в философии, логике и лингвистике важнейшую роль играет так называемый «наблюдающий субъект», благодаря которому любая система становится динамичной, или, иначе говоря, в нее входят движение, развитие, изменение. С. А. Аскольдов также рассматривал концепт как потенциальную динамическую структуру, зависящую от взгляда наблюдателя, и определял его следующим образом: «Концепт есть мысленное образование, которое замещает нам в процессе мысли неопределенное множество предметов одного и того же рода» [14]. Кроме того, концепты предлагалось делить на «познавательные» и «художественные». И если познавательные концепты, по мысли автора, приближаются к понятию, то художественные вызывают множество ассоциаций, которые нередко возникают благодаря связи звучания и значения, что особенно важно, например, для поэзии. В качестве примера С. А. Аскольдов ссылается на «Песнь о вещем Олеге» А. С. Пушкина: «Концепт “вещий” Олег художественно ценен именно потому, что он гораздо богаче ассоциативными возможностями, чем прозаический концепт “знающий”. Именно он рисует нам Олега в каком-то неопределенном ореоле разнообразных потенций “видения”, органически сопряженных с его боевым обликом. Пусть эти ассоциации четко не осуществлены, но достаточно, что намечено их направление» [15].

Приведем еще один пример. Для характеристики индивидуального стиля любого писателя особенно важными являются ключевые слова, соотносящиеся со значимыми для автора фрагментами картины мира, отраженными в его творчестве. Текстовые смыслы выявляются читателем на основе текстовых ассоциативных связей, которые можно опре-

делить как актуализированную в сознании читателя связь между элементами языковой структуры текста и соотношенными с ними явлениями действительности или сознания [16]. Очень важно отметить, что именно ассоциативные связи текстового слова организуют восприятие, интерпретацию и понимание текста. Ассоциативные связи текстового слова концептуально заданы и подчинены выражению определенного авторского смысла. Название художественного текста является определенным смысловым маркером, порождающим культурные смыслы в восприятии читателя еще до знакомства с самим текстом. Культурные смыслы, заложенные в названии, могут играть определенную роль в истолковании художественного текста, а отраженные в ней культурные представления могут стать своеобразной «точкой опоры» для раскрытия общего смысла произведения.

Проиллюстрируем это утверждение на примере названия знаменитой повести М. А. Булгакова «Собачье сердце», где актуализируются два взаимоисключающих компонента: 1. Преданность, верность (сравним: «собачьи глаза», «собачья преданность»); 2. «Нечистота» данного животного (это смысловое наполнение словосочетания «собачье сердце» берет начало в древней славянской культуре, где собака считалась «нечистым» животным). Кроме того, доктор Борменталь, ассистент профессора Преображенского, назовет Шарикова «человеком с собачьим сердцем», выказав тем самым крайне негативное отношение к этому существу, получившемуся в результате неудачного опыта. Что интересно, этой фразой Борменталь искажает реальное положение вещей, так как фактически Шариков — собака с человеческим сердцем. Однако именно эта характеристика — «человек с собачьим сердцем» (по сути, с собачьей душой, поскольку слово «сердце» здесь употреблено отнюдь не в значении «орган кровеносной системы») — позволила автору произведения подчеркнуть тяготение данного существа к отрицательному оценочному полюсу, тогда как противоположная (логически и фактически правильная) фраза привела бы к совершенно иному результату («собака с человеческим сердцем» — положительная эмоциональная характеристика поведения животного).

Обратимся теперь к размышлениям Д. С. Лихачева, продолжающим теоретические изыскания С. А. Аскольдова. Академик Лихачев обращается к важной функции концепта, которую обозначил С. А. Аскольдов, — *функции заместительства*. Данная характеристика предполагает, что в любом общем понятии (концепте) заложен некий потенциал значения, и человек, оперируя понятием, обращается, чаще всего не вполне осознанно, именно к этому потенциалу. Нельзя не согласиться с мыслью Дмитрия Сергеевича о том, что *концепт существует не для самого слова, а для каждого его словарного значения*, как бы много их ни было. Кроме того, Лихачев предлагает считать концепт своего рода

«алгебраическим» выражением значения, которым человек оперирует в речи, поскольку охватить значение во всей его сложности и полноте человек просто не может. Кроме того, заместительная функция концепта облегчает языковое общение в том смысле, что позволяет преодолевать различия в понимании слов говорящими. Однако нельзя забывать о том, что так называемые «мелочи» в толковании слов могут быть очень важны, например, в поэзии.

Размышляя о природе концепта, Д. С. Лихачев пишет о том, что концепты существуют не сами по себе, а в определенной человеческой «идеосфере» [17], потому что у каждого человека есть индивидуальный культурный опыт. Именно этот опыт определяет богатство или бедность самой природы концептов каждого конкретного человека и помогает, в большей или в меньшей степени, удачно ориентироваться в пространстве культуры.

Идя значительно дальше С. А. Аскольдова, Дмитрий Сергеевич высказывает чрезвычайно важное соображение: «Концепт не непосредственно возникает из значения слова, а является результатом столкновения словарного значения слова с личным и народным опытом человека» [18].

Данной мыслью ученый подводит нас к важной и, скорее всего, до конца не разрешимой проблеме преодоления межъязыкового и межкультурного барьера. Если бы все сложности при общении людей разных национальностей и культур сводились к тому, что за короткое время сложно овладеть обширным словарным запасом, то эта проблема уже была бы решена в рамках методики обучения иностранным языкам. Однако сложность не только в этом. Следуя за развитием мысли Лихачева, можно предположить, что трудности в общении разноязычных людей начинаются именно тогда, когда, пройдя этап стандартного ситуативного общения («знакомство», «погода», «семья» и т. д.), они неизбежно будут пытаться воспользоваться в процессе беседы своим индивидуальным культурным опытом. Попытки будут результативными далеко не всегда, а следствием может стать неудачное, поверхностное, не приносящее удовлетворения общение. Дело в том — и эта мысль четко прослеживается в статье «Концептосфера русского языка», — что *адекватное восприятие содержания концепта возможно лишь при достаточной близости национальных, сословных, классовых, профессиональных, семейных, в широком смысле, культурных опытов людей*. Если этой близости нет, то «послания» одного будут расшифрованы другим только на уровне словарных значений слов. А заложенная в словах информация в большинстве случаев ими не исчерпывается.

Еще сложнее, а иногда — комичнее, складывается ситуация с тем, что принято, в широком смысле, называть фразеологией русского (да и любого другого) языка. Итоговый, конечный смысл любого фразеологизма

в принципе несводим к словарным значениям составляющих его компонентов. Более того, многие исторически сложившиеся фразеологизмы русского языка для современного человека вообще нерасчленимы или же значения некоторых их компонентов просто утеряны. Дмитрий Сергеевич пишет о том, что на базе фразеологизмов также возникают концепты, причем их содержание прежде всего заключается именно в подразумеваемом «культурном потенциале». «Нет смысла приводить примеры концептов, возникающих на основе фразеологизмов из “Горя от ума” Грибоедова, басен Крылова, пословиц, поговорок, песен и т. д. В концептосферу входят даже названия произведений, которые через свои значения порождают концепты. Так, например, когда мы говорим “Обломов”, мы можем, грубо говоря, разуместь три значения этого слова: либо название известного произведения Гончарова, либо героя этого произведения, либо определенный тип человека. И вот в зависимости от того, читали ли вы Гончарова насколько глубоко, и по-своему поняли его, и сблизили со своим культурным опытом, все три концепта будут в пределах контекста различаться по смыслу и “потенциям”. Тем не менее для всякого человека слово “Обломов” говорит чрезвычайно много. В потенции в нашем сознании со словом “Обломов” возникает целый мир столичной и деревенской жизни, мир русского характера, сословных и возрастных особенностей и т. д.» [19].

Концептосфера в понимании академика — это совокупность потенций, открываемых в словарном запасе как отдельного человека, так и всего языка в целом. «Между концептами существует связь, определяемая уровнем культуры человека, его принадлежностью к определенному сообществу людей, его индивидуальностью» [20]. Иначе говоря, культуре можно представить как совокупность концептов, причем в картине мира каждого человека соседствуют и даже вступают в определенное взаимодействие несколько концептосфер: национально-культурно-языковая, профессиональная, семейная, индивидуальная и др. Важно, что в мировоззрении любого конкретного человека на уникальность и неповторимость претендует именно индивидуальная концептосфера, хотя она неизбежно связана с общей национально-культурно-языковой концептосферой. И здесь назревает весьма непростой вопрос о сути словесного творчества и явственно обозначается проблема адекватного понимания и интерпретации художественного произведения. Д. С. Лихачев приводит в качестве примера возможную интерпретацию стихотворения А. С. Пушкина «Пророк» через рассмотрение центрального для этого произведения концепта «перепутье». Нельзя не согласиться с мыслью Дмитрия Сергеевича о том, что если читатель ограничится обращением только к словарному значению слова «перепутье», то смысл зашифрованного в художественной форме послания автора останется для читателя абсолютно неясным. То есть именно оперирование концептами

и проникновение в индивидуально-авторскую концептосферу позволяет читателю и исследователю проникнуть в смысл текста, существующий только как потенциал и могущий быть превращенным в действительный смысл.

Дополнительной трудностью в поиске смысла текста является еще и то, что *художественный текст обычно многозначен, иначе говоря, в нем заложена совокупность смыслов*. Так, согласно идее филолога и философа М. М. Бахтина, Ф. М. Достоевский является создателем «полифонического романа». Помимо полифонии — некоего «мерцания смыслов», по Ю. М. Лотману, — в тексте можно наблюдать постепенное наращивание смысла, усиливающее его суммарное воздействие. Это можно назвать своеобразным углублением и расширением концептосферы художественного произведения, но — вопрос: до каких пределов это возможно?

По-видимому, пределов как таковых нет — не вследствие сверхгениальности автора и бесталанности читателя или, наоборот, в сверхталантливости последнего. Возможно, концептосферы и конкретно взятого художественного текста, и его автора, и читателя состоят из множества отдельных концептов, каждый из которых есть не только «изреченное» нечто, нашедшее конкретное словесное воплощение на национальном языке, но и «подразумеваемое» — потенциально заложенное, но не вполне осмысленное, возможно, даже самим автором, для чего и слово просто может не быть найдено. Это «подразумеваемое» и можно назвать культурным смыслом, культурным опытом, без которого создание произведений литературы, да и любого другого искусства, невозможно.

В свою очередь, концептосфера той или иной культуры, по убеждению академика Лихачева, также немислима вне влияния литературы и вообще словесного творчества: «Итак, богатство языка определяется не только богатством “словарного запаса” и грамматическими возможностями, но и богатством концептуального мира, концептуальной сферы, носителями которой является язык человека и его нации. Концептуальная сфера, в которой живет любой национальный язык, постоянно обогащается, если есть достойная его литература и культурный опыт» [21].

Термин «концептосфера», введенный Д. С. Лихачевым по типу терминов В. И. Вернадского «ноосфера», «биосфера», можно трактовать, следуя закону аналогии, как «пространство концептов» или же «область концептов». Понятие концептосферы, пишет Лихачев, особенно важно тем, что помогает понять, почему *язык является не только способом общения, но и неким «концентратом» культуры*. То, что термин «прижился» в научной среде, подтверждает и возникновение его «производных», например «персоносферы» Г. Хазагерова [22].

Персоносфера — это сфера персоналий, образов, сфера литературных, исторических, фольклорных, религиозных персонажей, «и в этом

смысле можно говорить не только о национальной персониферу... Однако, поскольку значительная часть персонажей “говорящая”, интереснее всего именно национальная персониферу, в которой инонациональные и транснациональные персонажи (библейские, античные) воспринимаются сквозь призму национального языка» [23]. Как пишет Г. Г. Хазагеру, персониферу имеет следующие свойства: во-первых, ее объектами являются лица, личности. Отсюда проистекает возможность сопоставления с ними, возможность сопереживания, подражания, в частности копирования речевых манер, возможность помещения себя в мир персониферу, моделирования своего поведения в этом мире. Во-вторых, персониферу обладает свойством метафоричности, которая состоит в способности более близкое схватывать через более далекое и поэтому более однозначное, несущее определенность. Важно отметить, что «национальное видение мира далеко не в последнюю очередь определяется характером персониферу, но при этом именно персониферу — самая изменчивая часть картины мира» [24]. Персониферу национально и культурно специфична, более того, она находится в определенной зависимости от исторической ситуации.

Если же вернуться к работе Д. С. Лихачева и к его определению природы концепта — «алгебраическое выражение» значения или, иначе, некий культурно-языковой потенциал, — то в этом случае *концептосфера становится областью потенциальных культурных смыслов*, без которой невозможно существование национального языка и, конечно же, художественного словесного творчества. Если язык нации является сам по себе сжатым «алгебраическим выражением» всей культуры нации, то художественное произведение есть гораздо более сложная структура. И эта структура содержит в себе многие промежуточные смыслы, рождающие общий конечный смысл.

Итак, можно с полной уверенностью согласиться с мыслью академика о том, что даже самый поверхностный *взгляд на концептосферу русского языка открывает богатство русской культуры*, созданной в разных сферах русского народа в различных соотношениях с другими национальными культурами через язык, искусство и пр. Позволим себе предположить, что богатство, глубина и уникальность концептосферы того или иного художественного произведения может быть одним из показателей гениальности его создателя.

Примечания

1. Лихачев Д. С. Письма о добром и прекрасном. М. : Дет. лит., 1988. С. 231.
2. Там же. С. 233.
3. Там же. С. 227.
4. Milner-Gulland R. Dmitrii Sergeevich Likhachev (1906–1999) // Slavonica. Sheffield. 1999/2000. Vol. 6, N 1. P. 142.

5. Подробнее как о богословском, так и о светском содержании «истории с имябожцами» в применении к русской истории первой половины XX века см.: *Эткинд А.* «И поныне на Афоне» // Эткинд А. Хлыст: секты, литература и революция. М. : Новое литературное обозрение, 1998. С. 261–263.
6. См.: *Лосев А. Ф.* Философия имени // Лосев А. Ф. Бытие. Имя. Космос. М. : Мысль; Российский открытый ун-т, 1993. С. 613–801.
7. Сто русских философов : биограф. словарь / Ин-т философии РАН. М. : Мирта, 1995. С. 145.
8. *Лихачев Д. С.* «Я живу с ощущением расставания...» // Комсомольская правда. 1996. 5 марта. С. 5.
9. См.: Обновленчество // Православие в России / Мин-во культуры РФ, РАН, Рос. НИИ культурного и природного наследия. М., 1995. С. 112–115.
10. *Лихачев Д. С.* Русский язык в богослужении и в богословской мысли // Русское возрождение. 1997. № 69–70. С. 41.
11. Там же. С. 43–44.
12. *Лихачев Д. С.* «Я живу с ощущением расставания...»
13. *Аскольдов С. А.* Концепт и слово // Русская словесность. От теории словесности к структуре текста : антол. / под общ. ред. В. П. Нерознака. М. : Academia, 1997. С. 267–279.
14. Цит. по: *Лихачев Д. С.* Концептосфера русского языка // Лихачев Д. С. Избранные труды по русской и мировой культуре. СПб. : СПбГУП, 2006. С. 318.
15. *Аскольдов С. А.* Указ. соч. С. 273.
16. См.: *Болотнова Н. С.* Лексическая структура художественного текста в ассоциативном аспекте. Томск, 1994. С. 273.
17. *Лихачев Д. С.* Концептосфера русского языка. С. 319.
18. Там же.
19. Там же. С. 323.
20. Там же. С. 321.
21. Там же. С. 328.
22. *Хаззагеров Г.* Персоносфера русской культуры // Новый мир. 2002. № 1.
23. Там же. С. 133.
24. Там же. С. 135.